

A photograph of a birch forest. In the foreground, a branch with several green leaves is visible, partially obscuring the view. The background shows a dirt path leading through a dense forest of birch trees with their characteristic white bark and green foliage. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

Владимир Вознесенский

**ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ**

(страницы воспоминаний)

Страницы воспоминаний:

<i>От автора.....</i>	<i>2</i>
<i>Воспоминания о моем отце.....</i>	<i>3</i>
<i>Путь ДВ: от Колымы к Енисею.....</i>	<i>15</i>
<i>Наталья Григорьевна Трирогова-Вознесенская.....</i>	<i>27</i>
<i>Джезказган.....</i>	<i>42</i>
<i>Легендарная тетя Манюся.....</i>	<i>52</i>
<i>Для заметок.....</i>	<i>62</i>

Время собирать камни

Вознесенский Владимир

От автора

В этих коротких заметках, построенных как серия очерков-портретов, нет описания моей родословной. Это и не обычные воспоминания о жизни семьи, предполагающие достаточно подробное и систематическое изложение событий. Это всего лишь страницы воспоминаний - сохранившиеся в памяти и окрашенные нежным чувством картины прошлого с дорогими мне лицами моих близких - моего отца, Николая Владимировича, моей мамы, Наталии Григорьевны, и моих приемных родителей - Дмитрия Владимировича и Марии Генриховны. Я надеюсь, что мои дети и внуки - кто раньше, кто позже - прочтут эти страницы и поклонятся памяти своих предков. Я надеюсь, что и другие читатели будут небезразличными к нелегким судьбам моих близких и тоже помянут их добрым словом.

У меня есть основания гордиться своим родом. Мой дед был одним из первых российских геологов, мои родители были среди первых советских гидротехников, мой приемный отец вошел в историю как один из первооткрывателей Золотой Колымы, а моя приемная мама была совершенно неординарной и, можно сказать, легендарной женщиной. Все они были по-своему замечательными, достойными людьми, и мне не избавиться от чувства обиды из-за того, что их судьбы, так же как судьбы многих многих других постепенно уходят в забвение и как бы заслонены безбрежным потоком новых событий и новых имен.

Получилось так, что на немногих страницах пунктиром отразилась история страны в течение целого века. И тема репрессий пронизывает все повествование, хотя у меня не было ни малейшего намерения ее акцентировать.

Воспоминания о моем отце

Моя бабушка, Екатерина Сергеевна Вотинцева, родилась и жила до замужества в городе Иркутске. В Иркутск, в сибирскую ссылку, был отправлен мой дед, народоволец, Владимир Александрович Вознесенский. Здесь они поженились. Здесь же, в Иркутске, 16 декабря 1901 года родился мой отец Николай Владимирович Вознесенский.

Папа прожил всего лишь 36 лет. Его арестовали в августе 1937-го, когда мне пошел шестой год. В феврале 1938-го его тайно убили, но мы сначала просто не знали об этом, а позже надеялись, все надеялись на чудо, почти двадцать лет.

«Мы» в конце тридцатых - это моя бабушка, моя молодая мама, Наталия Григорьевна Вознесенская (Трирогова), я и мой младший брат Сережа. Мы жили в Ленинграде, на Васильевском, на 16-ой линии. На далекой Колыме жил и работал в то время младший брат отца, Дима, Дмитрий Владимирович Вознесенский, с женой Марией Генриховной. Но в 1938-ом его тоже арестовали, тоже приговорили к расстрелу, и только по счастливому стечению обстоятельств освободили в 1940 году. В том же 1938-ом, как раз в феврале, в том месяце, когда убили папу, арестовали и приговорили к 5-летнему заключению, как «жену врага народа» мою маму. Мамины родители Григорий Владимирович и Наталия Николаевна, старшая мамина сестра Варвара Григорьевна и ее сын, мой двоюродный брат Сева, жили в центре города, на улице Рубинштейна. А на 16-ой линии бабушка Екатерина Сергеевна осталась с двумя внуками. Младшему, Сереже, только-только исполнился год.

На ленте моей памяти сохранилось лишь несколько кадров, в которых я вижу отца. Самый последний, какой-то затемненный, - это большая 18-метровая комната в нашей ленинградской квартире, диван у смежной с кухней стены и лежащий на диване отец. В комнате совсем тихо, окна вроде бы зашторены, и в первый раз я замечаю, что на лице отца нет его обычной улыбки.

Через много-много лет я узнал, что в эти дни он ждал ареста. И разлитая в квартире непонятная печаль коснулась тогда и меня, пятилетнего мальчика.

Чуть раньше, в середине лета 37-го года, папа и мама сидят вместе со мной за столиком в рабочей столовой в Усть-Луге, где в ту пору строили форты Второго Кронштадта. Сосны стоят совсем рядом со зданием столовой, а недалеко начинается сосновый лес с разбросанными в нем валунами и огромными, как мне казалось тогда, муравейниками. Эта картина окрашена в оранжевые и солнечные цвета, родители спокойны, хотя, наверное, они уже чувствуют признаки беды. Папа был начальником технического отдела строительства. Когда пришло время искать «вредителей», его судьба была предрешена.

На стройплощадку Второго Кронштадта гидротехников с Нижне-Свирской ГЭС переводили, видимо, в первой половине 37-го, и какое-то время, «между Свирью и Усть-Лугой», родители жили в Ленинграде. В мае мне исполнилось пять лет. И наверное в связи с этой серьезной датой папа повел меня в ближайшую фотографию. Она хорошо известна. Еще долго она существовала (да и теперь, вроде бы, существует) все в том же доме на Среднем, около 12-ой линии. Мне кажется, что я хорошо помню этот поход. Впрочем, мне помогает оставшееся с того дня фото, единственное, на котором я вместе с отцом. Я стою на стуле, в бархатных коротких штанишках, в аккуратной серой рубашке, в руках у меня скакалка, а моя голова прислонилась к крупной голове отца. Мы прямо, как и положено, смотрим в объектив фотоаппарата - папа слегка улыбаясь, а я очень серьезно. Последний запечатленный миг близости. Через три месяца отец исчезнет из моей жизни навсегда.

Я ухожу дальше в глубины памяти. Весна 37-го. Папа, мама, бабушка и гости сидят вечером за длинным столом в средней комнате нашей ленинградской квартиры. Маленького Сережи не видно, он, совсем еще малыш, спит за стенкой в соседней комнате. А я почему-то допущен в компанию взрослых. В конце веселого застолья передо мной ставят мой любимый клюквенный

кисель, я пробую его, он кажется мне недостаточно сладким, я хочу посыпать кисель сахаром, но, будучи мальчиком домашним и осторожным («благоразумно осторожен», как подшучивал отец), спрашиваю у родителей, действительно ли это сахар. «Сахар, конечно, сахар», - говорит папа, и мама подтверждает: «Сахар, сахар, разве ты не видишь, Володя?». Прошло больше шестидесяти лет, но до сих пор у меня перед глазами большая высокая белая кружка клюквенно-красная корочка густого киселя у самых краев и белая насыпь горько-соленого «сахара» сверху. Похоже, мои родители не упустили случая подшутить над сыном.

Сереза родился в самом начале января 37-го, когда мне было четыре с половиной года. Маму долго не отпускали из роддома, что-то не в порядке было у нее с молоком, и бабушка не раз тревожно повторяла, что Сереза «искусственник». Я понимал это слово буквально и ждал, что в доме скоро появится не вполне обычный, искусственный братик. Но вот пришел день, и мы с папой идем «забирать» маму и Серезеньку. Туда мы шли, но обратно целых два квартала ехали на такси - черной блестящей автомашине. Такая поездка была для меня событием. Такси остановилось у ворот нашего дома, прямо напротив «Пневматики», главного завода моего детства. Это я помню отчетливо: приоткрытая дверь автомашины, папа рядом на тротуаре, он в темном пальто, с большой (тогда носили большие) кепкой, и на руках у него белый сверток - запеленутый новорожденный братишка.

И уже на самом «донышке» памяти проблески воспоминаний, связанные со «Свирьстроем» - строительством и местом строительства Нижне-Свирской гидроэлектростанции. Папа начал работать там в 1930 году после окончания Ленинградского Путейского института, там он преподавал на курсах по подготовке гидротехников, там он познакомился с 19-летней Наташей Триоговой. Осенью 1931-го они замечательно провели отпуск на Черном море, и в мае 1932-го мне пришлось время родиться. Наверное, и 34-ом, и в 35-ом и в 36-ом годах мы с мамой подолгу, за исключением зимних месяцев, когда мама занималась в

техникуме в Ленинграде, жили с папой на «Свирьстрое». Я вспоминаю двухэтажный деревянный дом на краю поселка, лес сразу же за торцом дома, широкую площадку-поляну перед крыльцом. Беззвучная (опять какая-то беззвучная и темноватая) двухкомнатная квартира с очень простой мебелью, бесшумно двигающиеся фигуры папы и мамы, лицо моей няни-немки Екатерины Ивановны. Было там что-то страшноватое, что-то похожее на ночной разговор родителей в сказке «Мальчик-с-пальчик». Может быть как раз в то время я впервые услышал эту сказку и тоже почувствовал себя мальчиком, случайно узнавшим страшную тайну. Чем-то пугал меня этот дом. Именно здесь мне приснился жуткий для малыша и на всю жизнь запомнившийся сон: темная полоса густого ельника, острые верхушки деревьев и высунувшаяся из-за них огромная волчья голова с торчащими выше елей ушами.

Со дня ареста отца и до дня маминого ареста прошло семь месяцев, и мама пыталась в это время как-то скрасить мое детство. Мы ходили в новогодний вечер на роскошный карнавал у гигантской елки на Дворцовой площади, а чуть позже на новогодний праздник, тоже очень богатый, со щедрыми подарками, во Дворец Труда на Бульваре Профсоюзов. Но я помню и то, как мы стояли с мамой у какого-то окошечка в «Большом Доме» на Литейном, - тогда я уже понимал смысл слов «Большой Дом». Все как-то безумно сочеталось в той жизни: кошмар тюрем и веселье на городских улицах. Тогда я прошел мои первые «университеты», и шок знакомых, узнавших «правду» от Хрущева в 1956-ом, казался мне почти неприличным. В 1937-1938-ом было принято - и, возможно, это даже поощрялось властями - «хлопотать» за арестованных и осужденных. И вот мама идет со мной на прием к депутату Верховного Совета, всенародно известному Николаю Черкасову. Я помню, как мы поднимались по широкой красивой лестнице на второй этаж дома на углу Невского и Фонтанки, помню высокую фигуру Черкасова, помню маму (ей всего-навсего 25 лет!) и вижу себя, бессловесного и маленького в огромном пространстве приемной. Что мог нам сказать знаменитый актер Черкасов? Мне кажется,

что я не ошибаюсь: уже тогда, пятилетним мальчиком, я понимал, что маме ничем-ничем здесь не помогут, и мы так и останемся жить одни без отца.

После ареста мамы и дяди Димы хлопотать за папу было некому, а вскоре началась война. Мы с Сережей оказались на краю земли, в далеком сибирском поселке Аллах-Юнь, бабушка - на своей родине в Иркутске. Наша жизнь в военные годы - это особый разговор. Мы снова собрались в Ленинграде только весной 1946-го: дядя Дима (он к тому времени перешел на работу во Всесоюзный геологический институт), тетя Манюся, бабушка, я и Сережа. Все вместе в одной сохранившейся за нами комнате все в той же ленинградской квартире. Но мама оставалась после окончания срока в ссылке в Казахстане около Джезказгана. Об отце так и не было никаких вестей.

Бабушке было тогда уже 70 лет. Она страдала одышкой, почти не выходила из дома и, чтобы облегчить страдания, часами стояла на коленях на придвинутом к окну стуле и молча смотрела в окно - на строительную площадку под домом, на освещенные вечерним солнцем здания на соседней 14-ой линии. Верила ли она хоть сколько-нибудь в возвращение своего старшего сына? Она вообще мало говорила, а об этом почти никогда. Но ждала Колю. Однажды у нас работал печник, бывший заключенный, прошедший годы в лагерях на Дальнем Востоке. Он укладывал кирпичи, а бабушка спрашивала его, не встречал ли он там Николая Вознесенского. «Он такой приметный, плохо слышал на правое ухо», - подсказывала бабушка. И старик-печник, не отрываясь от работы, сказал, как-то очень спокойно и определенно, что «как же, конечно, встречал, его еще все и звали так: «глухой».

В 48-ом истекли «десять лет без права переписки», и дядя Дима, наверное под влиянием бабушки (сам он, естественно, понимал, что брата давно нет в живых) направил очередной запрос в НКВД. Такой поступок требовал мужества, но был бесполезным: время узнать правду еще не пришло. А 26 октября 49-го года моя бабушка скончалась в больнице. Никогда в жизни я не плакал так

безутешно, как в тот час, когда в окошечке больничной справочной пожилая медсестра, как-то торопясь и потупясь, сказала, что та, о которой я спрашиваю, умерла. Я прожил рядом с бабушкой двенадцать лет, она ничем меня особенно не баловала, была сдержанной и чуралась нежностей. Но у нас было огромное общее безысходное горе, - и в этом, наверное, коренилась моя, такая же огромная, жалость к незабвенной моей бабушке Екатерине Сергеевне.

Только после 1953-го года, постепенно, не сразу, начала раскрываться судьба отца. Сначала, в ответ на очередной запрос, нам прислали короткую справку, в которой говорилось о посмертной реабилитации. Позже прислали лживое сообщение о том, что Н.В.Вознесенский умер в заключении от болезни и похоронен где-то на Украине. И наконец мы узнали правду: «приговорен к расстрелу и расстрелян в Ленинграде 25 февраля 1938 года». Уже в 90-ом, перед самым отъездом в Израиль, в приемной «Большого Дома» на Литейном мне показали протокол судебного заседания от 25.02.1938. Одна неполная страница. Не машинопись - округлый почти детский почерк. «Обвинен в контрреволюционной деятельности.... на следствии в Кронштадтской тюрьме признал свою вину... на суде отказался от своих показаний... приговорен...». Все это заняло у них несколько минут. И еще через несколько часов его убили. Наверное прямо здесь, в подвале до сих пор страшного «Большого Дома».

На Белоостровском направлении, совсем недалеко от Песочной, где спустя 20 лет жила на даче старшая папина внучка Мариночка, есть станция Левашево. Если пройти от нее километра три на юго-запад в сторону Лисьего Носа, попадаешь в лес, а точнее в порядке истоптанное, в основном хвойное, редколесье. Высокие и средней высоты неплотно стоящие друг к другу деревья. На земле хвоя, негустая трава, кустики черники и брусники. И сразу же видишь, что земля под деревьями как-то неестественно неровная. Потом глаз начинает замечать длинные совсем неглубокие, но широкие борозды. Если походить подольше, можно распутать геометрию этих теперь уже не

загадочных линий. Это шрамы от рвов-могил. К деревьям над ними прикреплены: где - небольшие фотографии, где записки, а чаще - живые или искусственные цветы или цветные (малиново-красные, зеленые) ленты. Удивительно, но такие же прикрепленные к елочкам и сосенкам ленты я встречал на другом конце света, на тувинских языческих тропах верховий Енисея.

Всей правды до конца не узнать. Но для меня лес около Левашево - место последнего успокоения моего отца. Пусть так и будет. Еще одна черточка в едва ли не самом сильном и самом прочном чувстве моей жизни - памяти об отце. И даже не реальные воспоминания об отце - такие отрывочные и краткие - сопровождают всю мою жизнь. Память о том, что отца беспричинно и зверски погубили; что я всю свою жизнь прожил без папы, так и не породнившись с ним по-настоящему, не полюбив его, как мог бы, чуть повзрослев, полюбить; память о том, что от безотцовщины я вырос молчаливым, сторонящимся мира «волчонком» - эта обида и память жили и до сих пор живут во мне.

Есть замечательная, классически выполненная фотография: 10-летний чуть-чуть лукавый на вид Коля Вознесенский и его брат Дима, ученики С.-Петербургской гимназии Карла Мая, той самой гимназии, которая превратившись в Ленинградскую школу No 5, учила и меня, и Сережу, и позже первоклассницу Марину. Сохранились фото: папа в окружении курсантов - командир взвода военных топографов на Валдае. Счастливые мама с папой на берегу Черного моря, в Батуми. И папа примерно в 35 лет - тогда уже крупный инженер-гидротехник. В 35-летнем возрасте я внешне почти не отличался от отца.

Папа погиб совсем молодым, в 1938-ом. В нынешнем 2001-ом году ровно 100 лет со дня его рождения.



Николай Владимирович Вознесенский, отец, 1901-1938



*май 1937, Ленинград, отец и я.
За 6 дней до ареста папа подписал фотографию:
«Дорогой жене Нюте от Коли и Володи Вознесенских.
7 августа 1937 г.»*



Вознесенские, 1907г.: Владимир Александрович, Екатерина Сергеевна, Николай, Дмитрий



*1938 г., Ленинград.
младший брат Сергей Вознесенский и я,
уже без родителей*



*Бабушка - Екатерина Сергеевна Вознесенская (Вотинцева)
1885-1949 гг..*

Путь ДВ: от Колымы к Енисею

Младший брат отца Дима родился 19 февраля 1904 года в Якутске, куда, в Тмутаракань, был переправлен из Иркутска мой ссыльный дед Владимир Александрович, отказавшийся, по своим политическим убеждениям, выполнять почетное геологическое задание властей - искать в окрестностях Иркутска камень - постамент для памятника Александру Третьему. В отличие от брата, ставшего гидростроителем, Дима под впечатлением путешествий с отцом выбрал профессию геолога. За 8 (не 5, как обычно!) лет учебы в Горном институте он много раз ездил как практикант на полевые исследования. У него были серьезные учителя: Н.Н.Яковлев, Ю.А.Жемчужников (Черемховский каменно угольный бассейн), Д.В.Наливкин (Башкирия), Н.Л.Бубличенко (Рудный Алтай), Н.А.Хрущев (поиски висмута в Восточном Забайкалье), отец и В.В. Черных (Баженовский асбестово-изумрудный район Урала). Не удивительно, что его дипломная работа о магматических породах Рудного Алтая стала опубликованной монографией, а сам он вышел из Горного Института вполне готовым к самостоятельной работе специалистом. С 1929 г., в течение 15 лет, Дмитрий Вознесенский работал в золотоносных районах, занимаясь геологией золота и, в меньшей степени, олова. В 1929 г., как эпизод, - Сутамский золотоносный район на юге Алданского нагорья; с 1930 по 1940 г - Колыма; с 1941 по 1944 г золото-оловоносный район в западных предгорьях Джугджурского хребта.

История освоения Золотой Колымы вошла теперь в книги и известна многим, но в довоенное время о ней узнавали в основном по рассказам приезжавших на «материк» колымчан. Я мальчиком знал, что путь на Колыму лежит по штормовому Охотскому морю, что на огромном таежном пространстве разбросаны лагеря мрачного, похожего на особое государство «Дальстроя», что тысячи подконвойных заключенных на морозе и в комариной жаре добывают по ручьям и в речных долинах богатые золотом пески, что геологам порой приходится работать в совсем безлюдных местах, что добираются они к таежным

приискам по санным дорогам или с караванами навьюченных лошадей, а то и на плотках по порожистым рекам. Советский Клондайк... Геологи и горняки, те, кто годами работали по доброй воле в этой невообразимой дали, казались особыми людьми, непохожими на окружающих меня ленинградцев.

Вознесенский был в числе самых первых колымских геологов Билибинской школы. Он быстро стал и одним из самых крупных геологов Колымы. Сперва - начальник геолого-поисковой партии в экспедиции Института цветных металлов, затем - начальник геолого-поисковой партии в системе «Дальстроя», с 1936 г. - главный геолог Северного Горного управления. Все эти годы он вместе со своими товарищами - первооткрывателями Золотой Колымы увеличивал и увеличивал фонд колымских золотых россыпей. Среди достижений этого фантастически успешного по результатам и, можно сказать, героического периода исследования Колымы на счету Дмитрия Владимировича числится открытие Тенкинского золотоносного района, создание и публикация первой сводной работы по геологии и полезным ископаемым Колымы, руководство, в качестве главного геолога Северного Горно-Промышленного Управления «Дальстроя», крупными разведочными работами на россыпные и коренные месторождения золота и олова, новаторская организация приисковой геологии. «В значительной мере благодаря таланту и энергии Вознесенского, - свидетельствует Ю.А.Билибин, - Северное Горное Управление дает ежегодно очень большой прирост разведанных запасов...а сам Д.В.Вознесенский приобретает громадный опыт и становится одним из лучших знатоков геологии россыпных месторождений и прекрасным методистом». В 1935 г - Орден Трудового Красного Знамени, в 1936-ом - именные золотые часы. Добыча золота на Колыме растет: 14 тонн - в 1935-ом, 33 тонны - в 1936-ом, 52 - в 1937-ом, 62 - в 1938. Но в том же 1938 году руководство Золотой Колымы разгромлено. Начальник «Дальстроя» Э.Берзин расстрелян, другие, и Д.Вознесенский в их числе, - в Магаданской тюрьме.

Это долгая и страшная история, требующая подробного рассказа. Я еще вернусь к ней, когда буду писать о Марии Генриховне. Суть - в короткой справке: «Дана настоящая Вознесенскому Дмитрию Владимировичу в том, что он с 23 мая 1938 года находился под стражей во внутренней тюрьме УНКВД и освобожден 17 октября 1940 года, согласно определения Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР...» Справка умалчивает, что 15 октября 1939 г. Вознесенский был приговорен к расстрелу, что многие месяцы он провел в камере смертников, что отменили приговор лишь 5 мая 1940 г. Оправдан полностью. Но работа на Колыме завершилась. В еще одной справке, выданной на этот раз геолого-разведочным управлением Дальстроя НКВД СССР, безмятежно сообщается: «Уволился из Дальстроя в конце 1940 г по окончании срока договора».

Зимой 1940-41-го года дядя Дима (позже его часто называли «ДВ») ненадолго появился в Ленинграде. Он жил на улице Декабристов, вскоре уехал с Марией Генриховной на курорт в Эссентуки, а еще через некоторое время, получив назначение на пост главного геолога треста «Джугджурзолото», отправился в Восточную Якутию. Тогда я толком так и не понял, куда он снова как-то неожиданно уехал. Но уже через полгода, в августе 41-го, «Джугджурзолото» стало для меня местом вполне реальным: Мария Генриховна с тремя детьми пересекла всю страну и тоже оказалась в Восточной Якутии.

Управление треста находилось в поселке Аллах-Юнь. Я хорошо помню этот небольшой, пару километров от края до края, одноэтажный поселок, на берегу неглубокой, с перекатами, реки Аллах-Юнь, убегающей на юг, к Алдану. Над поселком, чуть восточнее, громоздились скалистые всегда заснеженные вершины Джугджурского хребта, отделявшие нас от Охотского моря. С противоположной, западной, стороны подступали сопки, покрытые лиственничной тайгой. В тайге вокруг Аллах-Юня, в ста-двухстах- трехстах километрах, скрывались золотые прииски с непривычно звучащими названиями - Юр, Юдома, Ыныкчан...

Здание управления в 5-ти минутах от нашего дома. Пересекаешь большой школьный двор, переходишь улицу, еще сотню метров пробегаешь по краю центральной поселковой площади - она же и футбольное поле, и плац для вечерних военных занятий, и ты на крыльце управленческого здания. На стене рядом с входной дверью большой термометр, я слежу за ним: зимой ртутный столбик нередко опускается ниже отметки 50 градусов, а однажды «замерзает» на 69-ой от нуля черточке. За дверью, в прихожей, подробная географическая карта запада СССР: кто-то каждый день передвигает на ней цветные флажки, уточняя положение фронта и отмечая (это уже 43-й и начало 44-го года) все новые отвоеванные у немцев места. Внутрь здания заходить не полагалось, но все же раз или два я заглядывал в кабинет, по начальственному просторный, с большим столом и черным телефоном, - где по 10-12 часов в сутки работал дядя Дима.

Тяжелая, полная ответственности работа, нацеленная на золото и олово. Без отпусков и без коротких передышек и, слава Богу, без болезней. И ничего подобного домашним хлопотам нынешних хозяйственных мужей: отвлекаться от работы не было времени, да и выглядело бы это недостойно. Может быть, единственной разрядкой от непрерывной рабочей напряженности был преферанс. Время от времени в Аллах-Юнь съезжались по служебным делам начальники приисков. Если дела затягивались до субботы, то вечером, накануне выходного, двое-трое близких приятелей приходили к домашнему ужину, выпивали, долго и горячо говорили о золоте и, позже, садились за карты на всю ночь. Пульку расписывали утром следующего дня, - усталые, с отяжелевшими лицами, в сизой от дыма комнате - и неспеша расходились, благо еще оставались сутки, чтобы отоспаться до начала рабочей недели.

Очень, очень часто дядя Дима оставлял свой управленческий кабинет и отправлялся в многодневные маршруты по глухим таежным дорогам и тропам. Это были настоящие маршруты, а не просто инспекторские поездки по приискам; маршруты с исследованием и описанием найденных обнажений, легших

потом на новую полумиллионную геологическую карту Аллах-Юньского района. Обычно - верхом, вместе с сопровождающим его конюхом. На спине - первое время - охотничий дробовик-двухстволка - гроза белок и рябчиков, а позже, наверное, с 1943-го года, - карабин. В тайге стало опасно, начался бандитизм: скрывавшиеся от воинского призыва искали еду и оружие, в засадах убивали путников. Одна из горьких потерь - давний товарищ семьи, геолог Иван Алехин. Вечер, он в нашем доме, рядом дядя Дима, они засиделись допоздна в сердечном застолье и долго-долго поют не имеющую конца и оказавшуюся роковой прощальную песню: «Разлука, ты, разлука - чужая сторона, никто нас не разлу..... ка, ты, разлука -». Наутро Алехин уехал в тайгу, а еще через день уже лежал простреленный, в гробу, в зале поселкового клуба.

Трудно утверждать, но похоже, что годы работы в «Джугджурзолото» были для ДВ самыми спокойными и успешными за всю его геологическую карьеру. Я читаю производственную характеристику: «В трудных условиях военного времени проявил много инициативы и труда в деле налаживания геолого-разведочной службы и широкого разворота поисково-разведочных работ в районе...; под его непосредственным руководством был освоен ряд основных золотоносных районов....., план поисковых работ выполнен в 1941 г на 128%, в 1942 г - 199%, в 1943 г - на 131%; добился значительного прироста промышленных запасов, что обеспечило досрочное перевыполнение планов золотодобычи в 1941, 1942 и 1943 гг.....; за время его работы было открыто и разведано более 20 новых промышленных месторождений золота.....; показал себя как прекрасный организатор, неутомимый в работе руководитель, пользующийся исключительно большим авторитетом и заслуженным уважением среди всех работников разведки и эксплуатации района.....». Слова «неутомимый» и «исключительно» в этой превосходной характеристике уже за пределами стандартных формулировок. Из них можно понять, что Вознесенский был абсолютно поглощен работой и вел эту работу наилучшим образом. Ему никто, или, скажем так, почти никто не

мешал. Его не подсиживали, как это было в другие годы, - в военной обстановке у любителей таких дел было меньше возможностей. Его колымский опыт позволял ему легко ориентироваться в новом районе и быстро принимать верные решения. Удивительное его свойство - на равных, без капли гордыни говорить с подчиненными, умение выслушать их доводы и прирожденная способность организовать людей для общей творческой деятельности позволили ему создать геологический коллектив, сплоченный не столько силой принуждения, сколько участием в безмерно важной для страны и успешно продвигавшейся работе. Рядом не было колючей проволоки лагерей. Дома ДВ жил в любви и спокойствии и был, как за каменной стеной, - жена, Мария Генриховна, помогала ему чем только могла. И, наконец, непосредственное начальство: В.А. Собко, судя по всему, очень хорошо управлял трестом и высоко ценил своего главного геолога; главный инженер Леонид Михайлович Жигалов стал в Аллах-Юне настоящим преданным другом ДВ. Все это как бы сложилось вместе, сложилось и стало причиной выдающихся достижений Вознесенского на Джугджуре. «Применив свой опыт к новому золотоносному району - пишет Ю.А.Билибин - Д.В. Вознесенский быстро добивается значительных производственных успехов, как в постановке приисковой геологии, так и в отношении эффективности разведочных работ». И снова, подобно тому как на Колыме: « В годы руководства Вознесенским геолого-разведочными работами треста последний дает каждый год крупный прирост разведанных запасов, позволяющий тресту удерживать одно из ведущих мест по золотодобыче в системе Главзолото». Может быть стоит напомнить цену золота в то время: золотом расплачивались с союзниками за военное оборудование, снаряжение, материалы, продовольствие. 1300 (!) тонн золота срочно отправили на карбазах по Лене до бухты Тикси весной 1943-го за поставки по ленд-лизу. И, кто знает, сколько джугджурского золота было в этом караване.

В середине 1944 ДВ начал работать в Москве главным геологом «Главзолото», но выдержал лишь полтора года. Это особое, не

всем присущее и не для всех приемлемое умение держать себя в наркомовских кабинетах. Там была принята оскорбительная манера отношения к подчиненным. Дядя Дима рассказывал, как это происходит и не стал дожидаться своей очереди: он не поступился бы своим достоинством, хотя хорошо понимал, что расплатой может снова стать тюрьма. В автобиографии сказано: «Ушел по причинам личного характера».

Последний десятилетний этап трагически короткой жизни. ДВ чуть-чуть за сорок. Он вернулся в Ленинград, во Всесоюзный Геологический на Васильевском Острове. Все так непросто. Таланта поисковика, огромного таежного геологического опыта здесь недостаточно. Нужна диссертация, составленная по бережно заимствованным канонам европейской науки. До той поры ты будешь иного, низшего сорта, нежели спокойно и прилежно трудившийся «на себя» - пусть и скромных способностей- научный работник. ДВ, к счастью, быстро преодолел этот рубеж, - тогда было заметно меньше формальностей: диссертацию он готовил вечерами и ночами зимой 1946-47 гг. Но шлейф неустroенности в научной, приправленной послевоенным бюрократизмом среде сохранился в графах трудовой книжки. «Зачислен старшим научным сотрудником... откомандирован на должность главного инженера Восточной экспедиции... назначен начальником партии...», снова (в мае 1947-го, сразу же после защиты) « назначен старшим научным сотрудником... назначен заведующим шлиховой лабораторией...переведен в Тувинскую Экспедицию...переведен в Ермаковскую экспедицию... назначен начальником Дальней экспедиции....». Для непосвященных весь этот растянувшийся на 6-7 лет период был эпохой знаменитой Тувинской экспедиции - временем геологического освоения недавно присоединенной к Союзу Тувы. Более осведомленные - а такими были очень многие, включая тувинских пастухов - знали, что в Туве, также как в других районах Союза, ищут невероятно нужный стране уран.

Должности ДВ в Туве менялись, но практически все время он был реальным руководителем геолого- съемочных и поисково-

разведочных работ. Поиски урана были новым делом, нужно было учиться на ходу, нужны были хорошо подготовленные толковые геологи и геофизики. И ДВ начал целеустремленно подбирать кадры для разворачивающихся в Туве работ. Матросов, Владимирский, Кудрявцев, Бобров, Абрамович, Богомоллов, Терентьев, Владимирская, Грушевой, Капков, Шапошников,- это только часть длинного списка молодых людей, найденных ДВ, нужным образом направленных и быстро выросших на геологической работе в Туве. ДВ с его бесценным опытом работ в куда более трудных условиях Колымы и Восточной Якутии был для них добрым наставником и неоспоримым авторитетом и в профессиональной области и, что не менее важно, в нравственной сфере. Простоте и демократичности ДВ, сдержанному достоинству его поведения невольно старались подражать, и это, конечно же, объединяло людей и поднимало уровень человеческих отношений в тувинском геологическом коллективе.

Друзья ДВ говорят о его редких душевных качествах и удивительном обаянии. Мне труднее судить о том, как это проявлялось в рабочей обстановке, хотя перед глазами живая картина: ДВ сидит на бревнышке на берегу Улатая рядом с мощным и строптивым Сашей, рабочим- проходчиком, и, наклонив голову, как-то очень спокойно объясняет ему простые истины о законах жизни в геологической партии. Но я помню ДВ по дому и примерно понимаю, что имели в виду его друзья. Неторопливое, несуетное, какое-то очень мужское поведение. Речь без мелких попреков и замечаний, без одергиваний, без капли раздражительности, - так что можно подумать, что все в семье делается чуть ли не идеально. Немного суровое, обычно усталое, но от того, по контрасту, привлекающее своей улыбкой лицо. Замечательное чувство юмора, готовность принять удачную шутку, склонность к мимолетным веселым розыгрышам. Герои Генри, Зощенко, Ильфа и Петрова, - они на слуху все время. «Монтигомо-Ястребиный Коготь» - по-чеховски зовет он младшего племяша Сережу. «Бонжур-покедова», - бросает домашним, надевая свою шапку-пирожок перед выходом на

улицу. И вместе с тем большая вдумчивость и серьезность, добросердечие высокой пробы, непоказная забота о близких, такое же непоказное внимание к делам и бедам друзей, товарищей и случайных собеседников.

В послевоенные годы дом Вознесенских на 16-ой был по-настоящему открытым домом. Не перечислить заходивших сюда то на четверть часа в обеденный перерыв, то на целый вечер. Отчасти этому способствовала близость к институту, но главное заключалось в том радушии, с которым ДВ и Мария Генриховна встречали и жданных, и совсем неожиданных гостей. По всему было видно, что людям легко в этом доме, что они полны доверия к хозяевам и готовы говорить с ними откровеннее, чем говорят со многими иными. Как памятно мне вечерние, «в 18 с минутами», компании товарищей-учеников ДВ, вначале медленно - один, другой, третий, четвертый... нет..кто-то еще застрял на площадке... - заполнявших пространство у входной двери, а затем, с улыбками и подначками, двигавшихся к главной комнате. Пока гости рассаживались за столом, дядя Дима незаметно выходил в коридор и, чуть смущаясь, говорил привычное: « Ну, ты знаешь,... одна нога здесь, другая там... колбаски полкило, сыру грамм триста....водочку ребята принесли...». Он не знал, как рад я ему услужить: скатывался с четвертого этажа по полутемной лестнице, бежал, торопясь, в известный своей хронической серостью магазин на углу 17-ой и Среднего... Все эти экспромтом устроенные застолья были прекрасными: отсутствие натянутости, поразительное взаимопонимание, содержательность беседы вместо частого в подобных случаях пустословия, всепронизывающий, брызжущий смех и общая атмосфера товарищества и дружбы. ДВ обычно держался в тени, а солировал, чаще других, Юрий Михайлович Владимирский, отличавшийся особым талантом увидеть и гротескно изобразить нелепости окружавшей нас жизни.

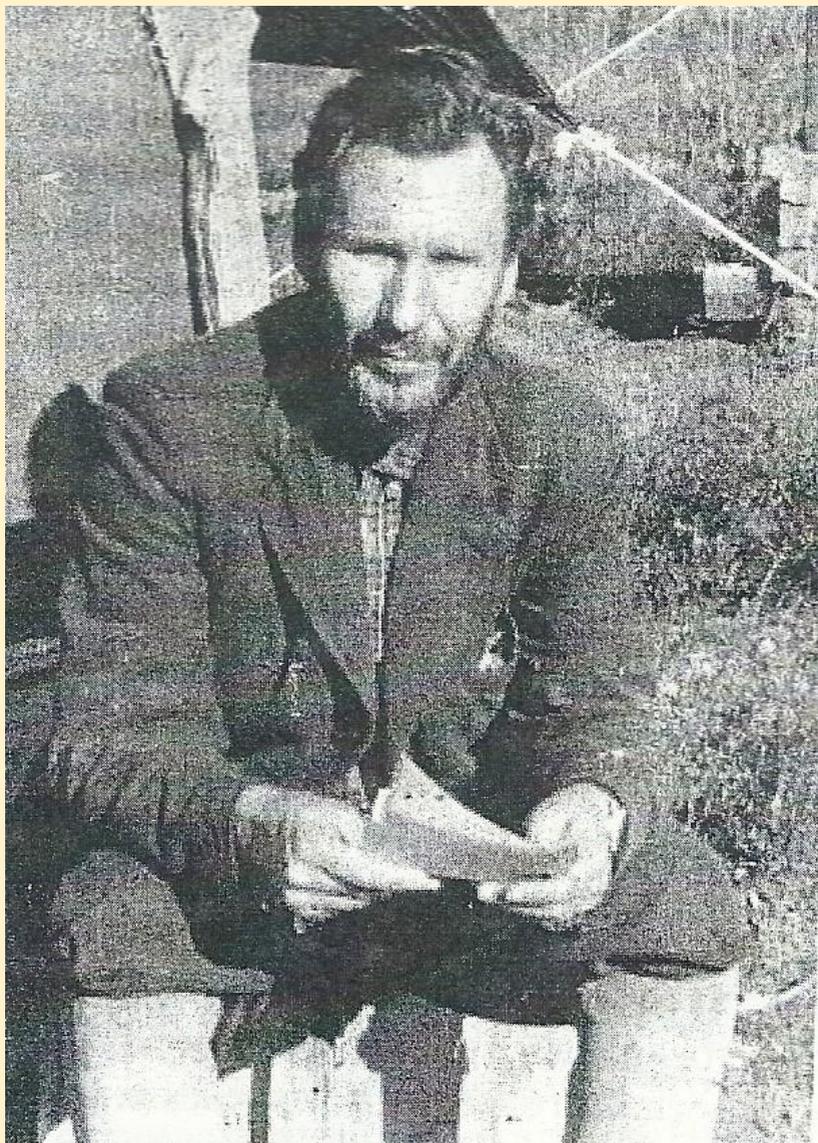
Дядя Дима прожил 52 года. На похоронах несли, спускаясь по главной лестнице Института, три ордена- Орден Ленина и два «Трудовых». Не думаю, что в Институте было много

орденоносцев такого калибра. На биографию ДВ, конечно же, косилось высокое начальство, но когда приходило время рассматривать наградные листы, достижения ДВ выглядели слишком уж неоспоримо. Наверное, даже самые подозрительные понимали, что в его беззаветной геологической работе большую роль играли чувства, справедливо называемые патриотическими. Они естественным образом унаследовались от революционно настроенного отца, боровшегося за благоденствие Родины; они укрепились в студенческие годы под впечатлением уральской и алтайской природы; они не могли не окрепнуть еще более при работе в тяжелых предвоенных и военных условиях полудикого, окрашенного драматизмом и романтикой Северо-Востока. Суть тогдашнего режима дядя Дима понимал яснее других, но это не мешало, а, возможно, и еще более побуждало его преданно служить своей так нелегко живущей стране.

Я мысленно наношу на карту места, где работал ДВ: верховья Колымы, притоки Алдана, верховья Енисея. Пройденные маршруты символическим образом ложатся на великую дугу сибирских хребтов, протянувшуюся от Колымского нагорья к Джугджуру и Становику и дальше к Саяно-Алтаю. Все произошло именно так, как было задумано в студенческое время вместе с Билибиным, Музылевым, Серпуховым, Шейнманном в геологической секции Горного Института: все годы самостоятельной работы ДВ - короткие 25 лет - отданы изучению богатств его малой родины, имя которой - Восточная Сибирь.



Дмитрий Вознесенский



1948 г., ДВ (Дмитрий Владимирович Вознесенский)

Наталия Григорьевна Трирогова-Вознесенская

Трирогова - это девичья фамилия моей мамы. По семейному преданию, она звучала как Турьерогова и напоминала о кавказских (черкесских) корнях отцовской ветви маминого рода. Григорий Владимирович Трирогов, мамин отец, на фотографии действительно похож на тех седоусых черкесов и друзей, которые живут на севере Израиля и которых я часто вижу по израильскому телевидению.

Более известная фамилия в мамином роду - Шахматовы. Корни этого рода уходят в екатерининские и пугачевские времена и связаны с Поволжьем, с окрестностями Саратова, где с давних пор у Шахматовых было имение Аряш. В середине прошлого века у двух сестер Шахматовых родились дети: у одной - сын, Григорий, у другой - дочь Наталия. Они, двоюродные брат и сестра, и стали мамиными родителями. Еще одна фамильная ветвь - Зузины, из верхне-волжского (костромского) дворянского рода. Зузин - мамин дед по материнской линии.

Мама родилась 4-го февраля 1912 года в Новгороде. Там, в лесном ведомстве, работал отец, там у семьи был небогатый, но довольно просторный дом, налаженный быт с английским уклоном в детском воспитании. Но, в отличие от старшей сестры Вавы, младшая, Наташа, ничего этого почти не застала: началась Первая Мировая, потом Революция. Дом постепенно уплотняли, отец потерял работу, во время Кронштадтского восстания был заложником и ждал расстрела. Семья стала нуждаться. Отец Григорий Владимирович переносил невзгоды спокойно (он и остался в моей памяти удивительно спокойным человеком). Мама не раз вспоминала его слова: «Меня не интересуют никакие другие вопросы, кроме вопросов здоровья».

В конце 20-х годов Трирогову перебралась (через Лодейное Поле) в Ленинград. Сделать это было непросто. Помогла мама тетья, Ольга Дмитриевна Менделеева, старшая дочь великого химика. С давних пор у нее хранилась ленинская записка:

«Оказывать всемерное содействие». Ленинградские власти посодействовали и выдали комнату в коммунальной квартире на улице Халтурина. Правда, Наташи Трироговой это почти не коснулось: она осталась на Свири, связав свою жизнь со Свирьстроем.

К строительству гидростанции на реке Свирь приступили после завершения Волховстроя. Нужны были люди, в том числе технически подготовленные; прямо на стройке открылись различные курсы. Мама записалась, кажется, на курсы плановиков и стала ежедневно ездить на стройку из Лодейного Поля. Позже она сама не понимала, как ей хватало сил в течение многих месяцев выдерживать трудный режим: чуть ли не в 5 утра нужно было садиться на рабочий поезд, а возвращаться домой удавалось только поздним вечером. Но она выдержала, получила свою первую специальность, и, тогда же, девятнадцатилетней, вышла замуж за инженера-гидротехника Николая Владимировича Вознесенского. Никто не думал в то время, что новая семья вскоре будет растоптана, что ей отпущено всего-навсего шесть лет жизни.

Я пытаюсь представить себе маму в молодости. Веселая, спортивная, организованная, без малейшего налета манерности, необычайно привлекательная. У нее был неплохой голос, врожденная музыкальность, в доме она почти постоянно что-то негромко напевала (чему я свидетель в зрелые ее годы) и даже выступала на конкурсах самодеятельности. Она много и, по рассказам, удачно играла в теннис, не боялась прыгать с парашютной вышки, и, наверное, походила на типичных для той эпохи жизнерадостных девушек-физкультурниц из журнала «СССР на стройке». Вот только бездумность и напористость, наверное, не были ей свойственны. В ее английском воспитании не было места сантиментам и разного рода «телячьим нежностям» и потому, играя, например, в крокет, она сажала, меня, годовалого, в широкую яму (чтобы не мешал и не потерялся) и давала морковку вместо яблока, поскольку морковка - полезней, а достоинства яблока малышу все равно непонятны.

Ее замечательный, ровный, нередко добродушный характер достался ей от неизвестных мне предков и был, как мне кажется, отшлифован в сдержанной, спокойной, взаимно-уважительной атмосфере родительского дома. Невозможно себе представить, чтобы в этом доме могло быть что-то подобное мещанским дрызгам и склокам. Сами имена, которыми наделили друг друга родные в этой семье, говорят об уровне их взаимоотношений. Маму, Наталию Николаевну, звали «Малюля», папу, Григория Владимировича, - «Диндя», старшую дочь, Варвару, - «Вава». Мою маму Наташу сестра Вава и на моей памяти часто называла нежным именем «Боба». А Сева, сын тети Вавы, уже будучи серьезным взрослым человеком, дома оставался «Тюкой». Какая-то духовная опрятность, свободная от мелочности и чуть прикрытая совсем ненаигранной, но и отнюдь не чрезмерной строгостью, ощущалась в этой семье.

Сейчас, когда мое детство отодвинуто в далекое прошлое, я думаю, что царившая в мамином окружении атмосфера благородной сдержанности была бы идеальной для детского (и, в частности, моего) воспитания, если бы течение семейной жизни было относительно благополучным. Но неожиданно вся жизнь оказалась сломанной, разбег, так и не перейдя в накат, был остановлен глубокой трещиной, и выяснилось, что в первые неполные шесть лет жизни, которые я прожил вместе с мамой, мне так и не удалось получить ту меру материнской ласки, на которую, наверное, вправе рассчитывать каждый ребенок. Может быть поэтому так дороги мне мгновения-воспоминания об истинной близости с мамой, мгновения, всегда почему-то связанные с солнечными лучами. На одной из картин солнце льется с трех сторон в окна лодейнопольской больницы. У меня скарлатина, но я уже выздоравливаю, и мама, сидя рядом и улыбаясь, показывает мне чудесные цветные рисунки из детских книжек. А на другой, еле подвластной памяти картине я вижу нашу ленинградскую комнату, наполненный невесомыми пылинками утренний солнечный луч, и, как будто со стороны, маму, держащую меня на коленях и говорящую мне, малышу, какие-то нежные-нежные слова.

Мамина молодость и настоящее мое детство закончились мартовской ночью 38-го года. Я вместе с бабушкой спал в большой 18-и метровой комнате, слышал неясные голоса ночью, но лишь позже, став постарше, узнал, что в ту ночь «приходили» за мамой. Бабушка, прикрыв дверь, сумела меня успокоить. Маленький Сережа, видимо, не проснулся и потому не плакал. Простила ли мама со мной, я не знаю: может быть ей это было и не по силам. Наутро ее уже не было, и бабушка, не помню как, объясняла мне, что маме нужно было неожиданно и очень надолго уехать. Что значит «надолго», я в то время не понимал. Мама увидела нас снова только через пять лет, а в квартиру на 16-ой вновь вошла через двадцать лет, в самом конце пятидесятых.

С мамой было не так как с отцом, исчезнувшим внезапно и навеки. Мама где-то далеко, но существовала; время от времени она сама давала знать о себе, а иногда что-то становилось известно окольным путем. В мое сознание довольно скоро вошли понятия «Пенза» и «Потьма», я находил эти места на розовом фоне географической карты, а Потьму представлял почему-то как некое большое поле с рассеянными в нем домами-бараками, в которых сидели за швейными машинами и беспрестанно шили сотни, а может быть, тысячи женщин. То есть вначале принудительный лагерный труд был «не по специальности». Зато позже, как благо, пришла весть, что мама работает уже как гидротехник, правда, гораздо дальше от нас, в неизвестном и жарком «Казакстане». Письма от мамы приходили редко, да и адресованы они были бабушке, но одно письмо, полученное под Новый Год, было написано печатными буквами и украшено веселыми цветными рисунками. Роскошный белобородый Дед Мороз в длинной красной шубе нес на спине огромный мешок с подарками, да впридачу тащил нагруженные подарками саночки. Я и потом замечал, что у мамы есть дар если не художника, то графика. И ее чертежи, и ее почерк (до глубокой старости) говорили о твердой руке. А хороший художественный вкус шел опять-таки от домашней среды.

Сейчас, когда я вспоминаю о маме, я должен сказать и о той пустоте, которая возникла в нашей ленинградской квартире после маминого «отъезда». В квартире всегда было тихо. Мало и как-то размеренно говорила бабушка, почти незаметно занималась на кухне хозяйственными делами домработница Настя (как хватало бабушкиной пенсии еще и на домработницу?), да и мы с Сережей похоже почти не шумели и не резвились. Никто нас вроде бы не одергивал, не приструнивал. Все получалось само собой. Просто у нас почти не было поводов для радости. Себя я вспоминаю чаще у окна в средней комнате, там мне казалось светлее всего, а света в нашей несолнечной квартире всегда, за исключением утренних часов, не доставало. От замкнутости и одиночества спасали игрушки, которых в доме было на удивление много. Замечательный металлический конструктор, позволявший собрать и грузовик, и действующий экскаватор, и поднимающий тяжести подъемный кран; огромный интересный набор «150 безопасных химических опытов»; совершенно фантастический переворачивающийся в воздухе после пробега по эстакаде «летающий автомобиль»; магнитная удочка для ловли красивых картонных рыбок в складном картонном аквариуме; увлекательные «летающие колпачки»; веселый заводной Микки-Маус в черном фраке, вальсирующий и играющий на скрипке одновременно. Всю жизнь я вспоминал эту чудесную коллекцию игрушек и только недавно понял, что она возникла в нашем в то время сиротском доме совсем не случайно: приходившие к нам друзья и знакомые (бабушки, мамы, дяди Димы) приносили оставшимся без родителей ребятам не рядовые, а лучшие, с вниманием и сердцем выбранные подарки. Некоторые имена друзей я хочу назвать: очаровательная Наташа (Наталья Ярославовна) Погребова, бабушкин воспитанник (знакомый по Валдаю) молодой рано погибший колымский геолог Леня Петренко, жена Билибина - Наташа Трушкова, Татьяна Григорьевна Мазюкевич - бабушкина соученица по Бестужевским курсам. Все они не боялись, приходили в наш дом в трудные времена, пытались поддержать бабушку Екатерину Сергеевну и как-то отвлечь и развлечь детей.

Порой я попадал «на побывку» к маминим родным, старавшимся снять с бабушки часть забот. Мамина сестра тетя Вава забирала меня дня на два-на три в огромный с тремя дворами «толстовский» дом между Фонтанкой и улицей Рубинштейна. Здесь я познакомился (но, по-правде говоря, так и не сблизился) со второй бабушкой, маминной мамой, Наталией Николаевной. Она была худощавой, совершенно седой, немногословной, и, как мне кажется теперь, слишком суховатой в общении. Я запомнил ее стоящей около пианино и объясняющей мне гаммы (пианино обменяли в войну на две буханки хлеба). Занимался мной в основном дедушка Григорий Владимирович. Он постоянно курил трубку, почти не выходил из-за круглого стола, стоящего в центре комнаты, и часами играл со мной и в шашки, и в шахматы, и в «уголки» (хальму), и в «волки и овцы», и в бирюльки. Как бы в память о дедушке и тех днях, мои дети сейчас, шестьдесят лет спустя, с азартом сражаются в «уголки» и умоляют меня раскрыть на шахматном поле тайну победы четырех белых овец над коварным черным волком. Комната Трироговых в коммунальной квартире была огромной, очень темной (1-ый этаж, окна во двор) и, что было необычно в те годы, - с паровым отоплением. Отопление не регулировалось, в комнате было по-африкански жарко, и перед сном я подолгу мучился на своей лежанке - стоявшим за шкафом большим, с выпуклой крышкой, жестком кованом сундуке. Сын тети Вавы мой двоюродный брат Сева приезжал на 16-ую гораздо реже, но зимой 40-го года он неожиданно прожил со мной и Сережей около недели: в эту неделю тяжело болел и погиб дома от воспаления легких дедушка. Тогда, к несчастью, еще не было сульфидина. Бабушка, Наталия Николаевна, умерла спустя год от голода в первую блокадную зиму.

Мамин срок заключения - пять лет - определялся 5-летним стажем ее замужества, сроком совместной жизни с «врагом народа». И ровно пять лет - день в день - она провела за колючей проволокой. Система была пунктуальна. Это позже, в 1956-ом, маму, без слов извинения, сожаления или раскаяния, полностью реабилитировали, признав тем самым бредовую незаконность

всего происшедшего. Но сейчас - лагерный срок в полную меру, а после него по- существу бессрочное поражение в правах, то есть невозможность вернуться в то место, откуда тебя «забрали», где живут твои дети и остальные родные. И так, двадцать лет подневольной жизни. О первых пяти, собственно лагерных, я почти ничего не знаю и никогда не пытался маму расспрашивать. О следующих двух я написал несколько страниц воспоминаний, назвав их, по месту маминой ссылки, - «Джезказган». Последние 10-12 лет неволи, хотя и были для мамы как бы не такими страшными и тяжелыми, оставили в моей памяти осадок чего-то несправедливо неестественного. Мама жила вроде бы совсем недалеко, - на Свири (в Подпорожье), потом в Каховке и Кременчуге (в полутора сутках от Ленинграда), но не могла, не имела права к нам приехать. Когда это все-таки случилось, приходилось опасаться доносчиков, останавливаться в более безопасном месте, у сестры, стараясь не привлечь к себе внимания. Наши с мамой встречи были из-за этого короткими, тайными и не слишком счастливыми. Лучше бывало, когда удавалось приехать к маме в Подпорожье и пожить у нее некоторое время. Каким скромным был ее быт (небольшая комната с минимально необходимой мебелью и утварью); все почти так же, как раньше в казахстанской ссылке. Однажды (кажется, зимой 49-го) маме нужно было сделать небольшую, но тревожную операцию. Ее направили в Ленинград, в областную больницу, что рядом с Финляндским вокзалом. Мы с Сережей навещали ее, лежащую в большой, по-вечернему полутемной палате, и все было как-то не по-человечески: мы возвращаемся на Васильевский в теплый обжитой дом, а ее после выписки чуть ли не этапом отправляют обратно, за сто (не меньше!) километров от Ленинграда.

В 1950 году я вместе с Сережей был усыновлен братом отца дядей Димой и его женой Марией Генриховной. С виду все представлялось вроде бы разумным: двое детей несколько лет живут и воспитываются в новой, доброй для них семье; родной отец пропал без вести и, как все понимают, погиб; родная мать - не в Ленинграде (на Украине, в Каховке), по существу без связи

со своими детьми. Нужно как-то узаконить сложившееся положение, тем более, что старшему, Володе, предстоит поступать в институт, а его нынешняя анкета вряд ли позволит это сделать... Я не знаю точно тех доводов, с которыми обратились к маме, но очень хорошо понимаю ее натуру, в которой всегда главенствовало: «Что ни делается, все к лучшему». Принципиальная, державшаяся на спокойном достоинстве пассивность, нежелание - почти всегда - отстаивать свои права, - да, эти черты мне, к сожалению, знакомы, я сам сплошь и рядом веду себя таким же образом и сопротивляюсь только прижатым к стенке. И она пошла по течению, благо по крайней мере с дядей Димой у нее были 100-процентно хорошие отношения, да она и не могла не согласиться с желанием людей, посвятивших себя ее детям. Незадолго до этого умерла бабушка Екатерина Сергеевна; неизвестно как бы она отнеслась к плану усыновления: думаю, она бы почувствовала, что это слишком болезненно по отношению к памяти старшего любимого сына Коли. Что до меня, то я, скажу правду, не сопротивлялся: к великому сожалению - но так уж все сложилось - мне казалось, что я просто не имею морального права поступать по-иному. Я всем был обязан дяде и тете и в знак благодарности всегда вел себя «лучше», чем вел бы себя при родной матери и отце. Мама была далеко; мне не хватило зрелости, чтобы, несмотря на расстояние, найти способ посоветоваться с ней и с откровенностью и серьезностью вдуматься в непростую жизненную ситуацию.

Первым практическим следствием моего усыновления стало легкое поступление (с «чистой» анкетой и медалью) в Ленинградский горный институт. Правда, не прошло и трех месяцев, как пришлось заполнять специальную расширенную анкету, в которой говорилось уже о двух репрессированных отцах (родном и приемном), родной репрессированной матери и приемной матери с подозрительной девической фамилией Баден-Мюллер. С такими данными меня после отличного окончания института не пустили, сославшись на отсутствие опыта, даже в просоветскую Монголию, хотя десятки моих еще

менее опытных соучеников отправились на урановые рудники Чехии и Германии. И в отношении тайны усыновления было очень серьезно. Когда, лет двадцать назад, мы с мамой, преследуя какие-то невнятные «жилобменные» цели, пытались доказать свое бывшее родство, дамы из районного ЗАГСа отказались дать мне справку, свидетельствующую об имени моей родной матери. «Да мне же было 17 лет!». Нет, молчали, каменные, - стояли насмерть.

Последний, можно сказать благополучный, период маминой жизни начался после возвращения ее в Ленинград в 1959 или 1960 году. Государство, от щедрот своих, даровало ей маленькую темную комнату в коммуналке на проспекте Щорса, рядом с известным, построенном в конструктивистском стиле «Свирским» домом. Никаких, даже минимальных усилий, чтобы добиться более достойного жилья, она не предприняла, хотя и официальные, и моральные права на это у нее были. Как всегда, не то чтобы отмахнулась, а просто как бы не заметила этой возможности. И жить бы ей без конца с окном в глухой двор, если бы размещавшийся здесь же, буквально за стеной, знаменитый, множество раз краснознаменный трест «Гидроэнергомонтаж» (там мама с помощью старых приятелей - свирцев получила работу) не пожелал расширить свои административно - производственные помещения и не расселил, через несколько лет, жильцов десятка квартир в доме на Щорса в разные районы города. Так мама и обосновалась на Правом берегу Невы, в Веселом поселке, на улице, носящей имя тоже реабилитированного наркома Крыленко.

Чуть ли не самые счастливые часы жизни прошли у меня в светлой, с молодыми тополями под окном маминой комнате на Крыленко. Именно часы,- те часы, когда я приходил, обычно после нескольких недель, а то и месяцев отсутствия, к маме в «гости». Нужно было, конечно, позвонить, договориться: «Мама, я прилетел из Караганды (Фрунзе, Ташкента, Кызыла...). Все в порядке; буду завтра, в одиннадцать». Это называлось у нее «поздний завтрак». Чтобы не заставлять никого вставать рано

поутру, чтобы не выматываться с тяжелым обедом, чтобы было время, не торопясь, поговорить обо всем и еще засветло, вместе, выйти на улицу для долгих проводов. Мамина улыбка у распахнутой входной двери, - как же можно ее забыть! - и легкое прикосновение к маминой щеке вместо долгих восточных лобызаний. Маме уже много лет, но держится она почти так же прямо как в молодости; ворот ее платья скреплен брошью с темно-красными чешскими гранатами; вся она подтянутая, без налета вялости и утомления. Какое-то время я следую за ней из комнаты на кухню и обратно (маме нужно что-то еще приготовить), но вот она заканчивает дела, и мы с возможным удобством садимся вблизи обеденного стола. Она - в кресле, но теперь уже наклонившись вперед, с чуть откинутой назад головой. Еще не бросила курить, с сигаретой, из-за этого покашливает, и когда смеется, смех ее звучит глуховато, баском, в противоположность ясности и энергии ее обычной речи. В эти первые минуты разговора улыбка почти не сходит с ее лица, мама часто и мило прищуривается, и по всему видно, что ей удивительно хорошо и комфортно. А потом мы не спеша завтракаем и говорим, - говорим так, как могут говорить до предела родные долго не видевшие друг друга люди.

«Вовун, твоя мать - министр» не раз и убежденно повторяла мне пронизательная тетя Вава. «Министр» - несмотря на поразительную бытовую неприхотливость, несмотря на скромную должность, несмотря на нежелание командовать, что-то произносить и «вещать». Я думаю, тетя Вава имела в виду мамину способность совершенно трезво оценивать жизненные обстоятельства, спокойную чуждую метаниям решительность в поступках, умение хранить внешнее спокойствие в трудных ситуациях, обязательность, большую ответственность и необходимую строгость в служебных делах. Наверное, недаром мама подолгу и, судя по всему, успешно занималась техническим контролем сначала на строительстве гидросооружений, а позже в Ленинграде - в жилищном строительстве, где ей приходилось противостоять давлению напористых и не всегда добросовестных прорабов. И это при том, что порог

чувствительности был у нее довольно низким; отсюда мгновенно вспыхивавшая, но так же мгновенно уходившая, чисто триоговская резкость- защитная реакция против слишком громкого, надоедливового или неприличного. «Ма-рина, пе-ре-стань!», - могла она внезапно грохнуть по столу, осаживая баловство своей маленькой обожаемой внучки.

Жизнь без претензий, - так я назвал бы основной мотив маминых поступков. Мама была лишена синдрома приобретательства, довольствовалась только необходимым и, более того, последовательно избавлялась от всего лишнего в доме. «Не нужно, нет нужды, это у меня уже есть,» - вот ее обычные слова. В ее комнате всегда был минимум вещей. Два десятка книг («можно взять в библиотеке» - она и ходила туда регулярно), полное отсутствие побрякушек, холодильник-малютка («варю на один день»), принципиальное нежелание запасаться продуктами и всевозможным «дефицитом». Пожалуй, только к материалам для ремонта жилья она относилась с чуть большим вниманием (наверное- профессиональное), чтобы иметь возможность вовремя починить и подкрасить комнату и подсобные помещения.

Жизненная непритязательность проявлялась у мамы и в более серьезном - в нежелании обременять других своими проблемами, воспоминаниями и переживаниями. Казалось, что у нее, действительно, нет ни к кому и ни к чему претензий и обид. Конечно же были, но я не помню, чтобы она о них специально говорила. Даже к властям, которые с полной мерой несправедливости сломали ее семью, она относилась без особого осуждения, будто бы случилось неизбежное. Из близких мне людей мама, едва ли не единственная, сохранила спокойствие во время восторгов и прозрений, связанных с «Одним днем...» Солженицына. У нее был свой запас лагерных впечатлений, который - это было понятно - совсем не нуждался в литературных дополнениях.

Свою жизнь мама строила таким образом, чтобы оставаться по возможности независимой. Она сознательно избегала тех дел, с которыми не могла справиться самостоятельно, боялась

решений, сковывавших ее свободу. Она избегала больших компаний, переписывалась и «перезванивалась» с очень немногими знакомыми (хотя любила поговорить со случайными людьми на улице) и ходила в гости почти исключительно к родственникам, сознательно сужая свои взаимоотношения с окружающими. Самодостаточность была ей свойственна в самой высокой степени. Она не искала развлечений, всегда умела себя занять, часто бывала задумчивой, но уж никак не скучающей. В детстве как-то оборвала мое нытье: «Человек не должен скучать, это неприлично!» Она не гналась за новыми впечатлениями, ее не влекло к поездкам и путешествиям, она была, можно сказать, большой домоседкой - я бы сказал, легкой на подъем домоседкой, потому что без труда, с удовольствием выбиралась на загородные прогулки, любила ходить (именно ходить, а не бродить) по лесу, целые часы проводила (опять-таки в движении) на ленинградских набережных. Если она все-таки путешествовала, чудесно было быть ее спутником. Никакого давления, никаких дорожных капризов, радушие к встречным, еще большее, чем обычно, спокойствие. Как замечательно плавали мы с ней в 1967-ом на теплоходе по Белому морю! И на лодках по узким каналам Соловецких Островов! И как ходили пешком вдоль сложенных из гигантских валунов суровых стен Соловецкой крепости! Не по своей воле маме пришлось столько лет жить на непривычном ей юге. В душе-то она была северным человеком, сохранившим в себе достоинство и свободолюбие Великого Новгорода. И новгородским своим происхождением она всегда и по-настоящему гордилась.

В конце жизни маме пришлось - через мои письма - немного прикоснуться к израильской действительности. Ее удивили имена родившихся на святой земле внуков - Юваль и Лиор; «...если бы мне пришлось с ними общаться, то я бы их называла Юва и Лио». Но малыши были далеко, и мамино сердце по-настоящему было отдано старшей внучке. В 1993-ем году, когда Марише исполнилось 35 лет, мамины слова были, как всегда, просты и серьезны: «... поздравляю тебя с хорошей старшей дочерью, которой я всегда люблю. Это большое счастье. С этим можно и

должно поздравлять. Ты мне писал, что уже не стоит поздравлять тебя с днем рождения. Я тоже самое про себя говорю, ну а с удачными детьми поздравлять нужно».

В кругу моих далеких от религии родственников мама отличалась какой-то скрытой неразгаданной глубиной и была, я думаю, ближе других к пониманию великих, идущих свыше истин:

«Всему свое время, и свой срок всякой вещи под небесами:

Эт лалэдэт в эт ламут

-- время рождаться и время умирать...

Эт ливкот в эт лисхок

-- время плакать и время смеяться...

Эт леашлих званим в эт кнос званим

-- время разбрасывать камни и время собирать камни...

Эт левакеш в эт лэабед

-- время искать и время терять...»

Уже давно, в 70-х, мама принесла мне старые семейные документы и нарисованное ее рукой генеалогическое дерево трироговского рода. И приписала: «Время собирать камни». Что я и делаю, хотя и с большим опозданием.



1932 г., мама
Наталья Григорьевна Трирогова-Вознесенская



1950 г., мама

Джезказган

В 1943-м году у мамы закончился пятилетний срок заключения, который она отбывала в Джезказганском лагере. В апреле 44-го, выхлопотав специальное разрешение лагерного начальства, она смогла приехать за детьми и бабушкой в Иркутск. Еще несколько дней, и все мы, вчетвером, оказались в самом центре Казахстана, в Джезказгане.

Собственно Джезказган расположен рядом с огромным медным рудником. Там я в годы войны и не побывал ни разу. А начали мы жить в так называемом Соцгороде, в 20-и километрах от Джезказгана. Представьте себе совершенно ровное полупустынное покрытое полынью и колючим низким кустарником пространство. Строительство здесь началось, видимо, за два- три года до войны. Успели построить несколько двухэтажных деревянных домов барачного типа и четыре-пять десятков белых двухквартирных каменных коттеджей. Большие кирпичные общественные здания почти все остались незавершенными. В будущем центре Соцгорода видны были глубокие открытые забетонированные котлованы- подвалы или же поднявшиеся до третьего-четвертого этажа захламленные и незастекленные красно-кирпичные коробки без внутренних перекрытий. Но школьное здание достроили до конца. Длинное, двухэтажное оно стояло совсем обособленно, на отлете, в полукилометре к северу от крайних коттеджей. Дальше шел прибрежный мелкосопочник, затем- очень широкая в этом месте долина реки Кенгир. Южнее Соцгорода, километрах в трех, находилась железнодорожная станция, откуда рельсы вели к узловой станции Жарык, а оттуда к Караганде и дальше в Россию. В нашей повседневной жизни главным было северо- восточное направление: широкая изгибающаяся по увалам дорога связывала Соцгород с «плотиной» и «лагерем».

Мама работала инженером-гидротехником на «плотине». Сначала, до нашего приезда, как заключенная, приходя из лагеря и возвращаясь в лагерь под конвоем, а позже как «вольная».

Работы шли на временной земляной плотине, не очень высокой, не очень длинной, создававшей небольшое Кенгирское водохранилище. Но в планах было возведение постоянной железобетонной плотины, которая должна была перегородить долину Кенгира на всю ширину. Готовый ее пролет возвышался на другом берегу реки, как бы нависая над скромной временной плотинкой. Гидротехники готовились к продолжению строительства этой черной громадины. И теперь на карте Казахстана я вижу простирающуюся на север от Соцгорода широкую синюю полосу - знак поднятого и разлившегося между сопками Кенгира.

«Лагерь» был недалеко от плотины, - обнесенный колючей проволокой, с целой чередой серых досчатых сторожевых вышек и собаками-овчарками. На вышках стояли «вохровцы» - стрелки вооруженной охраны. Слово «вохра» слышалось в Соцгороде постоянно, поскольку во многих домах жили лагерные командиры со своими семьями. Рядом с лагерем, уже на «вольном» пространстве, действовал клуб «вохры», и иногда компанией школьники бегали туда вечерами, смотреть кино «по частям». Но охранников недолюбливали, и потому охотнее ходили в другой клуб, на железнодорожную станцию. Фильм «Два бойца» с песней «Темная ночь» я видел именно в этом скромном пристанционном клубе. Помню, что возвращаться после сеанса пришлось почти ночью, небо над степью было черным и звездным, и провода тянулись за нами по всей дороге к дому.

Все время, что мы жили в Джекказгане, мама ходила на плотину пешком (час туда, час обратно), не тяготясь этим, будучи спортивной и легкой на ногу. Но днем ей приходилось мотаться по жаре на стройке, так что к вечеру, после 11-12 часового отсутствия, она бывала уставшей и не могла всерьез заниматься детьми. Воскресенья тоже были заняты: бытовые хлопоты, особенно стирка вручную в жесткой воде и упраздненная нынче починка одежды, «съедали» немногие свободные часы. Каких-то воскресных поездок или столь принятых в наши дни экскурсий я совсем не помню. Да и куда поедешь в условиях постлагерного

режима! Изредка мы все же выбирались на совместные прогулки. Весной, в мае, на спускающихся к Кенгиру склонах можно было побродить (остерегаясь скорпионов) по влажной еще земле, покрытой тысячами алых тюльпанов на коротких изумрудно-зеленых стеблях. Зимой мы ходили с мамой на заснеженные горы около школы, где я показывал свои лыжные успехи в среднескоростном спуске и прыжках с небольшого самодельного трамплина. Летом 44-го мама учила меня плавать. Экзамен по плаванию я сдавал уже в конце лета. Для этого нужно было переплыть Кенгир, сужавшийся к тому времени метров до пятидесяти. Сама мама неплохо плавала, но купалась редко из-за посещавших ее изнуряющих приступов малярии, приобретенной здесь, в Казахстане, за время лагерной жизни.

Моих школьных дел мама почти не касалась. Учился я по провинциальным меркам хорошо, и школьное начальство маму не беспокоило. Проблемы, если и были, то материального характера: где достать писчей бумаги, как получить талоны на УДП - «усиленное диетическое питание». Несколько месяцев мы писали и рисовали на проклеенном и забеленном сверху сером бумагоподобном скверно пахнущем материале. Что же касается УДП, то однажды мне, как очень тощему, выдали талоны на еду в столовой. Меню было однообразным: жидкий суп с зелеными солеными помидорами, манная каша, прикрытая квадратиком омлета из американского яичного порошка, и компот из ревеня. Среди уроков главными считались уроки военного дела, которые вел въедливый рябой военрук - демобилизованный лейтенант, он же директор школы. Мы без конца бегали, ползали по-пластунски, делали на турнике «передний и задний выжим», разбирали и собирали на скорость затвор винтовки образца 1891-го дробь 30-го года, стреляли по мишеням из малопульки Тульского завода. В первую послепобедную зиму состоялась грандиозная военная игра. К ней долго готовились - мастерили, соревнуясь друг с другом, деревянные автоматы с трещетками, и, нужно сказать, у некоторых получались просто-таки оружейные шедевры. Настал час, и «красные» по глубокому снегу пошли в наступление на

«синих». Я, помню, погиб в начале боя: попал на замаскированное минное поле и подорвался.

Река Кенгир была светлым пятном в нашей мальчишеской джезказганской жизни. В жару мы ходили туда по несколько раз в неделю и целые часы проводили на чуть приподнятом пойменном берегу, время от времени окунаясь в воду. В увлажненной прибрежной почве во множестве обитали грязно-коричневые пауки-тарантулы, прятавшиеся в вертикальных трубкообразных норках. С ними поступали жестоко: брезентовыми тапочками зачерпывали воду, заливали ее в паучью норку и дожидались, когда злобный хозяин выползет наружу...О чем-то мы болтали там, на кенгирском «пляже». И почему-то не сгорали дотла без пляжных тентов. Купанье в Кенгире было чудесным, но наступало время возвращаться домой, по 40-градусному пеклу, едва ли не пять километров и, как помнится, почти всякий раз уже в начале дороги страшно хотелось повернуть обратно к реке.

Летом на тот же Кенгир мы ходили ловить рыбу. Трофеи были скромными, но все же помогали разнообразить наш небогатый стол. Плотва и красноперки хорошо клевали на шарики из мятого-пермятого хлебного мякиша, а для хищных окуней приходилось жертвовать одной-двумя уже пойманными плотвичками. Окунь держались стайками на неглубоких местах с ровным песчаным дном. Мы подходили к реке в бесподобно прекрасный «никитинский» час, перед восходом, и ждали, чтобы солнце чуть-чуть приподнялось над дальними заречными сопками, позолотило песок прибрежных островков, сделало прозрачным мелководье. И тогда оставалось только медленно бродить с удочкой по теплой воде с берега на островок и с островка на берег, следя за разворотами окуневых стаяк и стараясь не пропустить момент, когда очередной полосатый хищник бросится на наживку. А тем временем солнце поднималось все выше, солнечные лучи оттесняли и оттесняли предрассветную темноту все дальше к противоположному восточному берегу. Начинала блестеть вода на середине течения, но за рекой еще держалась глубокая тень, и потому необычно яркими казались и трава, и

ивняк, и сияющий под солнцем песок нашей стороны. Ловили мы безоглядно, не замечая времени, хотя в жару клевало намного хуже. Пойманную рыбу нанизывали на кукуан- тонкий ивовый прутик. И надо было уметь небрежно и независимо нести длинный тяжеловатый от добычи кукуан по остывающим и оживленным к вечеру улицам и проулкам Соцгорода.

Все два года, что я провел в Джекказгане, связаны у меня с этими улицами - местом бесконечных и разнообразных игр. Жили все тесно (мы, например, вчетвером в одной комнате двухкомнатной квартиры), домашние встречи детей как-то не поощрялись, и при первой возможности школяры вырывались на волю. Во что мы только не играли. Помню жестокий, с казнями, «штанدار», когда небольшой крепкий мяч бросали вертикально вверх, все разбегались в стороны, а тот, кто «водит» должен был поймать мяч, крикнуть «стой!» и попасть, не промазать, в одного из застывших после команды игроков. Помню самодельные городки с их сложным набором сменяющих друг друга фигур (пушки, часовые, простое и заказное письмо...), «ножички», где постепенно отрезались все новые порции чужой земли (здесь особенно ценился эффектный полет ножа с переворотом); помню отвратительную (для меня, не больно здорового) игру «кол-забивала», в которой глубоко забитый кол нужно было выдергивать из твердой сухой земли. Были, конечно, и прятки, и футбол (трудно представить, но играли мы на большом «взрослом» поле тряпичным мячом). Но ярче всего вспоминается лапта- предтеча нынешнего по-рыцарски оснащенного бейсбола. Тут долго, разбившись на пары, делились («Бочку с салом, или казака с кинжалом?»), чтобы вышли примерно равные по силе команды, долго расчерчивали поле, долго, примериваясь, выбирали биты. А потом, - это несравненное чувство удачи, когда мяч взмывает вверх от получившегося, «под руку», удара, когда успеваешь домчаться «незапятнанным» из «города» к концу площадки, когда, задрав голову и отступая, ловишь высокую «свечу» и точно «вонзаешь» пойманный мяч в спину бегущего спасающегося от тебя противника. Возвращаясь с работы, мама часто приглядывалась к нашим играм. И почти всегда

одобрительно улыбалась. Я не помню, чтобы она всерьез сердилась на меня или младшего Сережу. Только изредка - слегка недовольный, удивленно-вопросительный тон, когда мы вели себя хуже, чем полагается.

Домашних обязанностей было у меня немного. Я приносил воду с уличной колонки, ходил в магазинчик отovarивать хлебные карточки, разрубал на растопку подвезенный к дому горбыль, подтаскивал к кухонной плите и печке уголь, разводил и поддерживал огонь. Обычно мы топили плохим мелким углем, который нужно было смачивать водой, чтобы образовалась черно-красная пылающая жаром часами сохраняющаяся в печи корка. Помню себя сидящим у теплой печки и подшивающим валенки, - тоже вид домашней работы. Посуду я почти не мыл, еду не готовил, хотя мог бы помочь на кухне маме и бабушке. Мои дети дают мне, давнишнему, сто очков вперед в этом деле: они большие трудяги, причем помогают по дому с охотой и, можно сказать, с энтузиазмом.

В магазинчике запомнились только круглые обсыпанные какао-порошком американские конфеты «Бим-Бом» и крупные насквозь промерзшие алма-атинские яблоки, выданные «на детей» под Новый Год. Нехватало серьезных вещей. Я помню, что мама приценивалась на базаре к маслу, которое, как выяснилось, стоило 800 рублей при маминой зарплате 1200. Чтобы как-то увязать наш бюджет с рыночными ценами, мама там же, на базаре, продавала швейные «отрезы», приобретенные для нас дядей Димой и тетей Манюсей в Якутии. Без этого подспорья нам было бы совсем плохо. О качестве нашего питания можно было судить по моим рукам: из-за авитаминоза они были покрыты, вблизи суставов, красными чешущимися буграми. В 44-ом году рядом с нами на базаре стояли и тоже продавали вещи женщины-чеченки. Рассказывали, что ссыльные чеченцы живут где-то недалеко от Соцгорода, что многие из них не выдерживают и погибают. Те, что выжили, сделались в Казахстане большими людьми. Их боялись. В 50-60-х они владели в республике базами,

складами, фермами и, как говорили, несметными стадами неучтенного скота.

Бет-Пак-Далинский полупустынный климат (а Джезказган стоит на северном краю Бет-Пак-Далы) вспоминается как очень суровый. После уже привычных нам 60-градусных якутских морозов можно было, вроде бы, ничего не бояться. Но казахстанские зимы оказались лютыми, главным образом из-за ледяных пробивающих одежду ветров. Порой ветры походили на ураганы. В 45-ом, на исходе зимы, 14-го марта, страшный порыв ветра сорвал половину крыши с нашей двухэтажной школы, остановив на две недели школьные занятия. А летом случались суховеи, похожие на «хамсины». Вся юго-западная плоская сторона горизонта багровела от пыли, и сухой, во все проникающий, неподвижный жар повисал над землей. Бабушке было в такие дни совсем плохо. Мне кажется, что джезказганские хамсины были тяжелее нынешних израильских. Может быть из-за того, что жили мы там как-то беззащитно, на юру, открытые на все стороны света, вдали от высоких гор и хотя бы внешне прохладного моря.

Мне помнится, что километрах в восьми от Соцгорода, во время похода с приятелями на дальнюю рыбалку, я впервые увидел возвышающийся над высохшей степью огромный зеленый образованный тополями параллелепипед. За деревьями белели дома, перед ними располагалась расчерченная арыками бахча с полосатыми арбузами и округлыми желтыми дыньками. Это была так называемая «Опытная станция» - творение рук заключенных агрономов. Там почему-то не было серьезной охраны - наверное лагерный участок перевели на вольный режим - но был сторож, который угощал нас сладчайшим арбузом «Король Куба» и совершенно бесподобными «Беричикутскими» дынями. Тогда я еще не понимал, что вижу один из оазисов Карлага- архипелага Карагандинских лагерей. Позднее, уже геологом, в середине 50-ых, я увидел много таких оазисов к югу от Караганды. Все они были созданы талантливыми агрономами, все выглядели издали роскошными, прямо-таки райскими местами. И названия их на

карте были соответствующими - «Раздольное», «Просторное», «Отрадное», «Компанейское».

Наверное, моя джезказганская жизнь чем-то очень существенным отличалась от предыдущей в Якутии и последующей в Ленинграде. Я не помню, чтобы я что-нибудь серьезно читал, не помню, чтобы ходил в библиотеку (да и была ли она), чтобы видел спектакли- хотя бы на школьной сцене. Я не помню, какой была наша повседневная еда, - разве что бутерброды: ломти черного хлеба, накрытые кружками вареного картофеля. И самое печальное, что я почти не помню домашнего общения с бабушкой и Сережей, то есть того, что было обычным до и после Джезказгана. Все заменяла улица. Я, конечно, не стал беспризорником, но, понемногу, превращался в уличного мальчишку. То, что я упустил и то, чему научился в Джезказгане, оставило след на всей моей жизни.

Где-то в конце 45-го года взрослым стало ясно, что пришла пора перемен. Дядя Дима и тетя Манюся вернулись к тому времени в Ленинград, появилась какая-то жилплощадь, и бабушка, видимо, написала сыну, что не переживет еще одного казахстанского лета. Да и обстановка в Джезказгане, несмотря на окончание войны, ухудшалась и ухудшалась. Видимо иссякли все наши запасы, скуднее сделалось питание, на недели исчезало электричество, заменяемое масляными коптилками в тигельках, начали разъезжаться люди и среди них мои школьные приятели. Школе явно нехватало учителей. В шестом классе не было уроков истории, географии. Еле-еле преподавали физику. В Соцгороде стало беспокойно из-за появившейся банды «Черная кошка». Мы, хотя и получили более просторное жилье, оказались рядом с туберкулезной казахской семьей. Словом, в марте 46-го, довольно-таки неожиданно, в Джезказган приехал забирать бабушку и меня с Сережей дядя Дима. Я помню, что уже сидя в вагоне, я смотрел и смотрел на маму, стоявшую не на платформе (такой на станции не было), а просто у полотна. Она, как всегда, держалась спокойно и не плакала, по крайней мере, при нас. Под

Ленинград (не в Ленинград) она смогла перебраться лишь в 48-ом.

За время моей работы в геологии - с картами, аэроснимками, наблюдениями с самолета - я привык смотреть на местность как бы с высоты, с птичьего полета. Поэтому и ускользающий в памяти Джезказган я вижу теперь сверху, с какой-то несуществующей точки над железнодорожной станцией. Вот впереди- белые кварталы Соцгорода, за ними моя, не очень-то путевая, школа, дальше - лыжные горы, а правее - теряющийся в дымке незабвенный Кенгир. Суровая, пропитанная людским горем земля, на которой я - единственный раз в сознательной жизни - прожил совсем рядом с мамой целых два года.

«Джезказгана» и всего остального могло и не быть: на подлете к Иркутску, над Прибайкальской тайгой, у нашего «Дугласа» отказал один из двух моторов. Порой мне кажется, что и отъезд наш из Джезказгана-Казахстана был маленьким чудом. В Петропавловске на железнодорожной пересадке сотни пассажиров не могли попасть в проходящие поезда. Целый день мы с больной бабушкой провели на забитой вещами и черной от многолюдья пристанционной площади. Ныли истомленные ожиданием дети. Приставали гадалки. Какой-то полуголый парень бегал по кругу, вывернув руки и кусая свои локти. «Не пью, не ворую, честным трудом зарабатываю» - кричал он, пытаюсь собрать деньги. А поезда все проходили и проходили. Спасла орденская книжка дяди Димы. Билеты закомпостировали. Мы помогли бабушке подняться в тамбур. И вскоре поезд был уже на российской земле.

Лет двадцать назад в конце лета во время геологической экскурсии в Улутау мне удалось попасть в Соцгород. Я долго не мог сориентироваться, но затем как-то сразу все встало на место. Я узнал странно уменьшившийся в размерах дом, в котором мы когда-то жили, улицу, на которой играли в лапту, небольшой городской парк, все такой же необитаемый и заросший все той же колючей джидой. На месте котлованов поднялись многоэтажные здания. Дорога до школы оказалась застроенной и совсем

короткой. В эти летние дни школа была почти пустой. Я поднялся на второй этаж, попросил разрешения войти в класс, посидел за свежевыкрашенной партой. На меня смотрели с почтением как на ветерана. Окна класса были обращены на Соцгород, но из школьного коридора открывался вид на другую сторону, на голые серые сопки правобережья Кенгира. Почему-то именно эта глухая сторона особенно щемяще напоминала о прошлом. Удивительное чувство - вглядываться в почти нереальное размытое прошлое, заслоненное новым и чужим настоящим. Я попрощался и уехал - теперь уже навсегда - из Джебказгана моего непростого отрочества.

Легендарная тетя Манюся

«Тетя Манюся» или просто «Манюся», - так все близкие называли Марию Генриховну, жену дяди Димы. Я впервые увидел ее в нашей ленинградской квартире в 1940 году. Она была настоящей красавицей, с какой-то незнакомой и непривычной в нашей семье экзотической красотой. Умное, легко улыбающееся лицо, аккуратно зачесанные назад, собранные широкой заколкой волосы, всегда очень прямой мило-насмешливый взгляд, резко выступающая вперед папираса со следами губной помады, стройность походки, привычной к высоким каблукам. Она была знакома с Димой еще гимназисткой в Екатеринбурге, но стала его женой только спустя пятнадцать лет, в 35-м году, когда он, уже знаменитым золотоискателем, приехал в отпуск с Колымы. Они вернулись туда вместе и прожили на далеком северном прииске Хаттынах три года, до начала колымских репрессий, - всего три года, ставшими в воспоминаниях тети Манюси незабываемыми годами по настоящему счастливой жизни. Она была звездой и душой нового для нее, заброшенного в глухомань, но совсем не провинциального геологического братства. Митя Казанли, Фаня Рабинович, Борис Вронский, Эльза Берзина, Валерия Эпштейн, Тупицын, Шумилов - целая вереница имен людей, оставшихся - кто в памяти, кто в реальности - самыми верными ее друзьями: все они были друзьями с тех давних неповторимых колымских времен. Говорить об окружавших ее людях, вспоминать связанные с ними эпизоды колымских лет она могла бесконечно.

Она вообще была замечательной рассказчицей. Лучше всего если слушателей немного- двое-трое, не больше, - когда никто ее не прерывает и не отвлекает долгими вопросами. Я как-будто вижу ее: она сидит за овальным столом, под желтым, вышитым ее же руками абажуром, в полосатой кофточке, не расставаясь с папирасой и неспеша раскладывая карты пасьянса. Речь течет медленно, так же медленно, как движутся ее руки с картами. И на фоне медленной речи- незабываемые, просто-таки артистические и в то же время совершенно ненаигранные паузы. Рассказывая, она то и дело улыбается, подсмеивается над собой,

сама удивляясь невероятности происходивших с ней событий. Если что-то кажется вам сомнительным, она не спорит - о чем может быть спор! Она просто еще раз спокойно повторит рассказ, подкрепив его некоторыми убеждающими вас деталями. Среди рассказов - жуткая история о том, как зимой в Ижмо-Печерском крае она ехала ночью в почтовых санях, и на пустынной дороге появилась волчья стая, мчавшаяся за санями несколько километров; страшные подробности о гибели царской семьи в Екатеринбурге (дом, где в детстве и юности жила теть Манюся, стоял в двух шагах от места расстрела, и все происходило чуть ли не на ее глазах); почти невероятный в медицине случай - после операции по поводу аппендицита больная, к изумлению хирурга, сразу же встает на ноги и расхаживает по палате; история о том, как в кузове колымского грузовика ее чуть было не убили плохо охраняемые уголовники, но, по счастью, один, их предводитель, узнав в ней актрису, игравшую на лагерной сцене, остановил своих сотоварищей: «Не трожь, она - наша!» - и велел вернуть уже награбленную было одежду. По словам тети Манюси, ее в свое время всерьез приглашали в труппу МХАТа. Так ли это, не знаю, но в 1942-ом люди плакали, когда она читала со сцены «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; в 1943-м в Аллах-Юне она с успехом заменяла заболевшую ведущую актрису Якутского областного театра в афиногеновской «Машеньке». И героическим моментам в рассказах тети Манюси трудно было не верить. У меня было ощущение, что она, действительно, никогда и ничего не боялась, будь то бытовые опасности и трудности или сложные препятствия морального толка. В ее лексиконе не было обычных женских слов: «я волнуюсь», «мне страшно», «я нервничаю». Было лишь принятое тогда «беспокоюсь молчанием» в тревожных текстах телеграмм. Она с одинаковым бесстрашием мыла окна на высоких этажах и говорила с начальством всемогущих «органов». Ее не останавливали тяжелые морские путешествия. В 60-летнем возрасте она пролетела вдоль трассы Севморпути от Ленинграда до Магадана. Я видел с какой быстротой и решительностью тушила она огромный факел неожиданно вспыхнувшей новогодней елки. В ней не было русской крови, больше всего польской, но по духу своему, она

была настоящей «некрасовской» женщиной, - из тех, что входят в горящую избу и готовы идти за мужем на край света.

Самая главная история тети Манюси - история, которая сохраняется как истинный подвиг ее жизни - это рассказ о событиях 1938-40-го годов, когда по ложному, совершенно абсурдному обвинению Дмитрий Владимирович был арестован и два с половиной года находился в заключении в Магаданской тюрьме. Сначала его обвиняли в контрреволюционной заговорщицкой деятельности на Колыме, позже приписывали ему вредительскую деятельность по сокрытию запасов золота. В следственном деле, которое сочинялось в течение многих месяцев, фигурировали названия причастных к заговору карликовых европейских государств, таких как Андорра и Люксембург, легкие аэропланы со слитками колымского золота, непостижимым образом добравшиеся до Японии, коварно спланированные системы золотодобычи, позволявшие утаивать большую часть драгоценного металла... Тетя Манюся не стала медлить. Первое, что она сделала, - собрала с помощью верных колымских друзей солидную сумму денег, необходимую для хлопот. Затем, пригрозив суеверному начальнику отдела кадров «Дальстроя», что навеки проклянет его дочь, добилась того, что в отделе кадров ей выдали копии хранившихся там документов Д.В. Вознесенского. Поплыла во Владивосток, оттуда экспрессом - в Москву. В Москве, опутав своими чарами смотрителя-лейтенанта, разыскала в подвалах Лубянки, где лежали невообразимые груды следственных дел, нужную ей папку. Нашла смелых людей - крупных специалистов по золоту, не побоявшихся письменно защитить доброе имя Дмитрия Владимировича. И под конец умолила взяться за колымское дело знаменитого адвоката Коммодова. К тому времени состоявшийся в Магадане суд вынес Д.В. Вознесенскому смертный приговор. И казалось истинным чудом, что исполнение приговора было отложено, что состоялось новое судебное разбирательство, что пришло полное оправдание. Это сейчас, зная скрытую механику предвоенных репрессий, мы понимаем, что все усилия были бы напрасными, если бы ежовщина не сменилась чуть менее

кровавой бериевщиной. Но мы понимаем и другое: не сделай тетя Манюся того, что она сделала, все окончилось бы трагически. Слова: «ты спасла меня, Манюся,» не раз сказанные дядей Димой, должны остаться в памяти нашей семьи.

Трудолюбие ее и сноровистость в работе были удивительными. В военные годы она умело и с какой-то лихостью мыла деревянные полы, неутомимо, вручную, перестирывала белье всего семейства, чистила курятник, засаливала целые бочки грибов и огурцов. Без особого опыта она взяла на себя в Аллах-Юне все заботы по огороду, организовала и заинтересовала детей и добилась того, что огород стал среди лучших в поселке. На аккуратных почти идеально расчерченных грядках вырастали такие же аккуратные, просто-таки образцовые овощи- твердые кочаны капусты, желтые приплюснутые, будто отполированные, репки, крупные сочные редиски, тяжелые конусы турнепса, вьющийся по тонким палочкам горох, обожаемый тетей Манюсей ярко-зеленый укроп. Для огурцов был сделан бревенчатый парник, они роскошествовали там, блестящие, пупырчатые, прячась в широкой огуречной листве. Помидоры росли на грядке, их срывали зелеными, засовывали в валенки, под кровать, где они лежали до тех пор, пока не покраснеют. Картофель как самый важный «овощ» занимал половину огорода и требовал большого ухода. Но какие замечательные клубни мы выкапывали под осень! Урожай был «сам-шесть»- шесть мешков на один посаженный - и, поверьте, это хорошее достижение для земли в 300-х километрах от полюса холода. Стоит сказать, что продукты, которые приносились в дом - почти независимо от их разнообразия и качества - неизменно превращались под руками тети Манюся в первоклассную еду. Это касалось и рутинных казалось бы блюд- борща и котлет, которые так и остались в моем понимании непревзойденными, и всевозможных изделий из теста, в том числе знаменитого, многократно воспетого всеми едоками, залитого сладким желтком брусничного пирога.

Ей была свойственна какая-то особая врачебная зоркость. Едва взглянув в глаза, она отличала болевающего ребенка, едва

коснувшись рукой ребячьей головы - определяла температуру. С неутомимой настойчивостью она лечила и лечила увиливающих от процедур больных, не уставая ставить компрессы, клизмы, горчичники, пунктуально подносить ложки с микстурой. Немного ворчливая в обычной жизни, она преображалась у постели больного. С ней никто не чувствовал себя заброшенным: десять раз поправит постель, десять раз потрогает лоб, десять раз пошутит и подбодрит улыбкой. Под ее неотвязным «прессингом» мы с братом годами пили сумасшедше-горький хлористый кальций и отвратительный, непереносимый по запаху, хранившийся в холоде между оконными рамами рыбий жир. Она пестовала нас с Сережей после тяжелого бронхоаденита весной 46-го года, а позже, летом, забрав на полевой сезон в экспедицию, отпаивала нас, доходяг, кумысом в Западной Туве.

У нее был совсем непростой характер, из палитры человеческих отношений она извлекала обычно либо светлые, либо темные тона. Верность дружбе была у нее беспредельной, но так же упорна и не всегда справедлива была она в своей неприязни. Почти невозможно было в чем-то ее переубедить, и трудно вспомнить случай, где она признала бы свою неправоту. Но что менялось - так это ее настроение. Нельзя сказать, что мы, дети, купались в ласке; в доме, скорее, царила атмосфера спокойной строгости. Но порой тетя Манюся становилась несказанно неотразимо нежной. Такое бывало, например, когда она возвращалась с дядей Димой с какого-либо торжества или банкета. В такие вечера ребята оставались дома одни допоздна. Но вот, наконец, звонок, мы бежим открывать входную дверь, и тетя Манюся, - веселая, больше чем всегда красивая, - радуется, глядя на нас, целует, не устает смеяться и угощает невиданно вкусными «банкетными» конфетами. Правда, на следующий день обычно наступала расплата: ее мучили боли в боку, и она часами лежала, грустная, время от времени добавляя горячую воду в резиновую грелку.

Я подхожу теперь к концу моего небольшого повествования - рассказу о событиях военного лета 1941-го года, когда тетя

Манюся - в самый, может быть, критический момент моего детства - оказалась рядом с нами, став для меня с братом второй мамой.

Война началась для нас в маленькой деревне «Венки», на краю голой, поднятой над заливом плоскотины чуть южнее Ораниенбаума. Это была наша очередная предвоенная дача, такая же бедная и не слишком радостная, какими были другие дачи, «дачи уже без мамы»: Старый Петергоф в 1938-ом, Всеволожская в 1939-ом, Горская в 1940-м. На этот раз мы жили с бабушкой Натальей Николаевной, воскресным утром пошли, как всегда, встречать тетю Ваву к Ораниенбаумскому парку и от нее узнали о войне. Из Венков, с высоты, хорошо был виден темно-серый, выступающий над водой Кронштадт, и уже к вечеру мы различали орудийные вспышки и слышали доносившийся оттуда гром выстрелов.

Можно себе представить, как трудно было взрослым нашей семьи, семьи без мужчин, действовать в начавшейся военной неразберихе. И вот тогда наша ребячья судьба оказалась в руках тети Манюси. Судя по всему, примерно через неделю после начала войны она приняла решение ехать с детьми к месту работы мужа в далекую Якутию. Все было совсем не очевидно: немцев под Ленинградом не ждал никто, боялись только бомбардировок, эвакуироваться не хотели, и поначалу массовая эвакуация была чуть ли не принудительной. Тетя Манюся лежала в то время в какой-то клинике. Позже она говорила, что ее дальний родственник, но очень близкий ей человек, дядя Федя, переживший в первую мировую немецкий плен, заклинал ее: «Уезжай, Манюся, уезжай. Ты не знаешь немцев! Забирай детей и уезжай немедленно». И все закрутилось. 3-го июля я еще в Венках. Репродуктор соседского дома передает памятную речь Сталина. А на 12-ое июля был уже назначен отъезд: именно эта дата стоит на сохранившемся до сих пор эвакуационном удостоверении.

Товарный состав отправлялся ранним вечером с Москов. ского вокзала. Я помню множество людей, сидевших на тюках и

чемоданах, уходящие вверх тросы аэростатов заграждения, сами аэростаты в виде огромных раздувшихся неподвижных серебристых рыб. К нашей четверке (тетя Манюся, ее дочь Ната, я и Сережа) присоединилась на вокзале эстонская семья - молодая женщина с двумя белоголовыми мальчиками; держаться вместе было легче, мы поместились с ними в одной теплушке и не расставались до конца путешествия. Так и начался наш далекий путь. Очень скоро, где-то под Волховстроем, мы увидели первые живые следы настоящей войны - попавший под авианалет и весь изрешеченный пулями паровоз. А через несколько часов пули стучали по крышам нашего поезда, и детей затолкали в узкую щель под нижними нарами. Возвращавшийся с «дела» немецкий летчик не упустил случая выпустить несколько очередей по длинному медленно ползущему составу.

По плану товарняк с эвакуированными должен был дойти до Свердловска, но его остановили еще до Перми. «Всем выгружаться, за вами придут машины, отвезут в ближайшие колхозы». Тетя Манюся бросается к проходящим эшелонам. Они идут непрерывно, но все переполнены, никто не готов потесниться, чтобы посадить новых людей. Одна, другая, третья неудачная попытка... Но вот очередной эшелон. Уже издали видно, что в нем едет непростая публика - белые брюки, вальяжные фигуры мужчин, ухоженные, столичного вида женщины. Так и есть: эшелон «Наркомчермета» из Москвы. В него тоже не хотят брать. Тетя Манюся переходит от вагона к вагону. Наконец посчастливилось: перед одним из вагонов стоит знакомый по Москве человек. Все сразу же устроилось, места нашлись - и для нас, и для наших спутников из Эстонии. Мы снова едем на восток.

Свердловск, родной город тети Манюси. Позже она много рассказывала о своей екатеринбургской юности. Об отце, заводском управляющем, Генрихе Баден-Мюллере, трагически погибшем на заводе при взрыве парового котла, о нелегкой трудовой жизни оставшейся без отца семьи, о маме, когда-то приехавшей на Урал из Варшавы, о сестрах с певучими

польскими именами - Гелюся, Юзя, Зося, о любимом брате Генрихе, пропавшем без вести во время гражданской войны. Но все это позже. Сейчас Свердловск - просто пересадочный пункт в нашем пути на восток. После нескольких беспокойных дней мы едем, на этот раз в пассажирском поезде, в Иркутск. Поезд - обычный, сравнительно удобный, из-за этого память почти не сохранила подробностей 3-тысячекилометрового железнодорожного пути. Не так как в товарняке, с его неустроенным бытом, двухэтажными нарами, долгими, но неожиданно прерываемыми стоянками, очередями за кипятком под гудками уже трогającego паровоза. Поезд-поезд, чем-то он походил на поезд с Филеасом Фоггом и Паспарту в знаменитом жюль-верновском романе, да и само наше путешествие, похоже, затягивалось на восемьдесят дней.

В Иркутске было много нашей дальней родни - бабушкины сестры, братья, племянники и племянницы. И предполагалось, что кто-то из них приютит меня и маленького Сережу. Но после разговоров и обсуждений стало понятно, что родственники боятся брать на себя такую обузу и ответственность, да и действительно - никто не знал, как повернутся дела в военные годы. Так что в конце-концов порешили, что лучше будет, если дети поедут с Манюсей дальше, в Якутию.

И вот мы уже плывем на небольшом пароходе вниз по Ангаре. Выгружаемся в Зырянске. Темень, проливной дождь, набитый людьми зал ожидания на речной пристани. Нужны билеты на автобус до Усть-Кута, но их нет. Тетя Манюся в страшном напряжении: бежит к одной, потом к другой кассе, потом к начальнику автовокзала, потом к какой-то грузовой автоколонне, снова к кассе. Дождь все хлещет, я помню этот черный водопад даже сейчас, спустя шестьдесят лет. К полуночи на посадку неожиданно подают небольшой потрепанный автобус - наверное дополнительный - и долгие-долгие восемь часов мы едем по тряской укачавшей и вымотавшей нас горной дороге в сторону Лены.

Усть-Кут. Через десятилетия он станет известен как «ворота» БАМа. После бессонной ночи стоим на берегу широкой реки. Над спокойной водой - спины тысяч и тысяч готовых к сплаву бревен. У причала - белоснежный теплоход «Ленин». Он отправляется в Якутск, мы занимаем каюту и живем на теплоходе много дней, двигаясь вдоль затаеженных берегов, мимо высоченных ленских утесов. Теплоход пуст, почти без пассажиров, какая-то необычная тишина сопровождает наше плавание, ковры в коридорах говорят о прежней роскоши, скудное ресторанное меню с солониной - о наступающих трудных временах.

Наши родственники разбросаны по всей Сибири. Один из них, большой человек в Якутске, помог достать билеты для предпоследнего 600-километрового отрезка нашего длинного пути. Не помню самого перелета, но никогда не забуду, как гидросамолет коснулся поверхности таежного озера, как взметнулись из-под поплавков брызги, покрывшие иллюминаторы, как сияли на воде солнечные блики, как гидросамолет затормозил и остановился, покачиваясь, недалеко от причала. Гайдаровский «Чук и Гек»: дяди Димы нет, он в поездке по приискам; нас, по телеграмме, встречают. Вокруг тайга, по-осеннему пожелтевшая, отсчитавшая время нашего долгого путешествия. До Аллах-Юня осталось восемнадцать километров. Мы едем верхом, тетя Манюся самостоятельно, дети - прижавшись к конюхам. Лошади медленно ступают по топкой тропе. Я оборачиваюсь назад и через просветы между лиственницами еще раз вижу позолоченную солнцем синеву аллах-юньского аэродрома - никому почти не известного Абрашкина озера.

Живя в Сибири, мы не сразу узнали и не сразу по-настоящему поняли, что произошло с Ленинградом зимой 1941-42-го года. Это позднее, став взрослым, я множество раз возвращался в памяти к нашей пустоватой ленинградской квартире, в которой никогда не бывало запасов больше, чем на 3-4 дня. Два мальчика - один из них совсем малыш - и больная, почти не выходящая из дому бабушка, - как мы могли подготовиться к ужасам надвигающейся

блокады? Мы были бы в числе самых первых ее жертв. Были бы, не будь тети Манюси.



*04.1944 г., пос.Аллах-Юнь, Сибирь_Манюся -
Мария Генриховна Баденмюллер*

Для заметок
